Глеб Иванович Успенский

«Выпрямила»

Глеб Иванович Успенский
«Выпрямила»
Серия «Кой про что», книга 14

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=666015

Аннотация

«…В очерке «Выпрямила» писатель показывает людей, «скомканных» как русской действительностью (крестьяне-новобранцы, народник Тяпушкин), так и западноевропейским капиталистическим строем, где царствует мнимая «правда», где «всё одно унижение, всё попрание в человеке человека». Но пафос «Выпрямила» – в мечте о лучшем будущем русского народа, о «выпрямленном» человеке, свободно трудящемся на своей земле, освобожденном от несправедливостей правительственных властей и «жестокостей» капитализма…»

Содержание

I	4
II	14
III	27
IV	42
Примечания	44

Глеб Иванович Успенский «Выпрямила» (*Отрывок из записок Тяпушкина*)

I

…Кажется, в «Дыме» устами Потугина И. С. Тургенев сказал такие слова[1]: «Венера Милосская[2] *несомненнее* принципов восемьдесят девятого года»[3]. Что же значит это загадочное слово *несомненнее?* Венера Милосская несомненна, а принципы сомненны? И есть ли, наконец, что-нибудь общего между этими двумя сомненными и несомненными явлениями?

---

[1] *…Кажется, в «Дыме» устами Потугина И. С. Тургенев сказал…* – Имеются в виду слова из рассказа И. С. Тургенева «Довольно. (Записки умершего художника)»: «Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права или принципов 89 года».

[2] *Венера Милосская* – древнегреческая статуя богини любви, найденная в 1820 году на острове Милосе.

[3] *«…принципов восемьдесят девятого года»,* – Имеется в виду «Декларация прав человека и гражданина», политический манифест французской буржуазной революции, выработанный Национальным собранием 4–27 августа 1789 года.

Не знаю, как понимают дело «знатоки», но мне кажется, что не только «принципы» стоят на той самой линии, которая заканчивается «несомненным», но что даже я, Тяпушкин[4], ныне сельский учитель, даже я, ничтожное земское существо, также нахожусь на той самой линии, где и принципы, где и другие удивительные проявления жаждущей совершенства человеческой души, на той линии, в конце которой, по нынешним временам, я, Тяпушкин, вполне согласен поставить фигуру Венеры Милосской. Да, мы все на одной линии, и если я, Тяпушкин, стою, быть может, на самом отдаленнейшем конце этой линии, если я совершенно неприметен по своим размерам, то это вовсе не значит, чтобы я был сомненнее «принципов» или чтобы принципы были сомненнее Венеры Милосской; все мы – я, Тяпушкин, принципы и Венера – все мы одинаково *несомненны,* то есть моя, тяпушкинская, душа, проявляя себя в настоящее время в утомительной школьной работе, в массе ничтожнейших, хотя и ежедневных, волнений и терзаний, наносимых на меня народною жизнью, действует и живет в том же самом несомненном направлении и смысле, которые лежат и в несомненных принципах и широко выражаются в несомненности Венеры Милосской.

А то, скажите, пожалуйста, что выдумали: Венера Милосская несомненна, «принципы» уже сомненны, а я, Тяпушкин, сидящий почему-то в глуши деревни, измученный ее

---

[4] *Тяпушкин* – герой цикла очерков «Волей-неволей» (1884).

настоящим, опечаленный и поглощенный ее будущим, – человек, толкующий о лаптях, деревенских кулаках и т. д., – я-то будто бы уж до того ничтожен, что и места на свете мне нет!

Напрасно! Именно потому-то, что я вот в ту самую минуту, когда пишу это, сижу в холодной, по всем углам промерзшей избенке, что у меня благодаря негодяю старосте развалившаяся печка набита сырыми, шипящими и распространяющими угар дровами, что я сплю на голых досках под рваным полушубком, что меня хотят «поедом съесть» чуть не каждый день, – именно потому-то я и не могу, да и не желаю устранить себя с той самой *линии,* которая и через принципы и через сотни других великих явлений, благодаря которым вырастал человек, приведет его, быть может, к тому совершенству, которое дает возможность чуять Венера Милосская. А то, изволите видеть: «там, мол, красота и правда, а тут, у вас, *только* мужицкие лапти, рваные полушубки да блохи!» Извините!..

Все это я пишу по следующему, весьма неожиданному для меня обстоятельству: был я вчера благодаря масленице в губернском городе, частью по делам, частью за книжками, частью посмотреть, что там делается вообще. И за исключением нескольких дельно занятых минут, проведенных в лаборатории учителя гимназии, – минут, посвященных науке, разговору «не от мира сего», напоминавшему монашеский разговор в монашеской келье, – все, что я видел за предела-

ми этой кельи, поистине меня растерзало; я никого не осуждаю, не порицаю, не могу даже выражать согласия или несогласия с убеждениями тех лиц «губернии», губернской интеллигенции, которую я видел, нет! Я изныл душой в каких-нибудь пять, шесть часов пребывания среди губернского общества именно потому, что не видел и признаков этих убеждений, что вместо них есть какая-то печальная, плачевная необходимость уверять себя, всех и каждого в невозможности быть сознающим себя человеком, в необходимости делать огромные усилия ума и совести, чтобы построить свою жизнь на явной лжи, фальши и риторике.

Я уехал из города, ощущая огромный кусок льду в моей груди; ничего не нужно было сердцу, и ум отказывался от всякой работы. И в такую-то мертвую минуту я был неожиданно взволнован следующей сценой:

– Поезд стоит две минуты! – второпях пробегая по вагонам, возвестил кондуктор.

Скоро я узнал, отчего кондуктор должен был так поспешно пробежать по вагонам, как он пробежал: оказалось, что в эти две минуты нужно было посадить в вагоны третьего класса огромную толпу новобранцев последнего призыва из нескольких волостей.

Поезд остановился; был пятый час вечера; сумрак уже густыми тенями лег на землю; снег большими хлопьями падал с темного неба на огромную массу народа, наполнявшую платформу: тут были жены, матери, отцы, невесты, сы-

новья, братья, дядья – словом, масса народа. Все это плакало, было пьяно, рыдало, кричало, прощалось. Какие-то энергические кулаки, какие-то поднятые локти, жесты пихающих рук, дружно направленные на массу и среди массы, сделали то, что народ валил на вагоны, как испуганное стадо, валился между буферами, бормоча пьяные слова, валялся на платформе, на тормозе вагона, лез и падал, и плакал, и кричал. Послышался треск стекол, разбиваемых в вагонах, битком набитых народом; в разбитые окна высунулись головы, растрепанные, разрезанные стеклом, пьяные, заплаканные, хриплыми голосами кричавшие что-то, вопиявшие о чем-то.

Поезд умчался.

Все это продолжалось буквально две-три минуты; и это потрясающее «мгновение» воистину потрясло меня; точно огромный пласт сырой земли был отодран неведомою силой, оторван каким-то гигантским плугом от своего исконного места, оторван так, что затрещали и оборвались живые корни, которыми этот пласт земли прирос к почве, оторван и унесен неведомо куда… Тысячи изб, семей представились мне как бы ранеными, с оторванными членами, предоставленными собственными средствами залечивать эти раны, «справляться», заращивать раненые места.

Умышленное «заговаривание» хорошими словами душевной неправды, умышленное стремление не жить, а только соблюсти обличье жизни, – впечатление, привезенное мною из города, – слившись с этой «сущей правдой» де-

ревенской жизни, мелькнувшей мне в двухминутной сцене, отразились во мне ощущением какого-то беспредельного несчастия, ощущением, не поддающимся описанию.

Воротившись в свой угол, неприветливый, холодный, с промерзлыми подоконниками, с холодной печью, я был так подавлен сознанием этого несчастия вообще, что невольно и сам почувствовал себя самым несчастнейшим из несчастнейших существ. «Вот что вышло!» – подумалось мне, и, припомнив как-то сразу всю мою жизнь, я невольно глубоко закручинился над нею: вся она представилась мне как ряд неприветливейших впечатлений, тяжелых сердечных ощущений, беспрестанных терзаний, без просвета, без малейшей тени тепла, холодная, истомленная, а сию минуту не дающая возможности видеть и впереди ровно ничего ласкового.

Затопив печку сырыми дровами, я закутался в рваный полушубок и улегся на самодельную деревянную кровать, лицом в набитую соломой подушку. Я заснул, но спал, чувствуя каждую минуту, что «несчастие» сверлит мой мозг, что горе моей жизни точит меня всего каждую секунду. Мне ничего неприятного не снилось, но что-то заставляло глубоко вздыхать во сне, непрестанно угнетало мой мозг и сердце. И вдруг, во сне же, я почувствовал что-то другое; это другое было так непохоже на то, что я чувствовал до сих пор, что я хотя и спал, а понял, что со мной происходит что-то хорошее; еще секунда – и в сердце у меня шевельнулась какая-то

горячая капля, еще секунда – что-то горячее вспыхнуло таким сильным и радостным пламенем, что я вздрогнул всем телом, как вздрагивают дети, когда они растут, и открыл глаза.

Сознания несчастия как не бывало; я чувствовал себя свежо и возбужденно, и все мои мысли тотчас же, как только я вздрогнул и открыл глаза, сосредоточились на одном вопросе:

– Что *это* такое? Откуда *это* счастие? Что именно мне вспомнилось? Чему я так обрадовался?

Я так был несчастлив вообще и так был несчастен в последние часы, что мне непременно нужно было восстановить это воспоминание, обрадовавшее меня во сне, мне стало страшно даже думать, что я не вспомню, что для меня опять останется все только то, что было вчера и сегодня, включительно до этого полушубка, холодной печки, неуютной комнаты и этой буквально «мертвой тишины» деревенской ночи.

Не замечая ни холода моей комнаты, ни ее неприветливости, я курил папиросу за папиросой, широко открытыми глазами всматриваясь в тьму и вызывая в моей памяти все, что в моей жизни было в *этом* роде.

Первое, что припомнилось мне и что чуть-чуть подходило к *тому* впечатлению, от которого я вздрогнул и проснулся, – странное дело! – была самая ничтожная деревенская картинка. Не ведаю почему, припомнилось мне, как я од-

нажды, проезжая мимо сенокоса в жаркий летний день, засмотрелся на одну деревенскую бабу, которая ворошила сено; вся она, вся ее фигура с подобранной юбкой, голыми ногами, красным повойником на маковке, с этими граблями в руках, которыми она перебрасывала сухое сено справа налево, была так легка, изящна, так «жила», *а не работала,* жила в полной гармонии с природой, с солнцем, ветерком, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым были слиты и ее тело и ее душа (как я думал), что я долго-долго смотрел на нее, думал и чувствовал только одно: «как хорошо!»

Напряженная память работала неустанно: образ бабы, отчетливый до мельчайших подробностей, мелькнул и исчез, дав дорогу другому воспоминанию и образу: нет уж ни солнца, ни света, ни аромата полей, а что-то серое, темное, и на этом фоне – фигура девушки строгого, почти монашеского типа[5]. И эту девушку я видел также со стороны, но она оста-

---

[5] *…фигура девушки строгого, почти монашеского типа* – собирательный образ революционерки. Создавая этот образ, Успенский имел в виду, в основном, В. Н. Фигнер, приговоренную в 1884 году к смертной казни, которая была заменена двадцатилетним заключением. Это подтверждается упоминанием имени Фигнер в конспекте очерка «Венера Милосская», указанием на это А. И. Иванчина-Писарева в его воспоминаниях об Успенском («Заветы», 1914, № 5) и словами самой Фигнер в письме ее к А. В. Успенской от 25 ноября 1904 года, уже после смерти писателя: «…в 1884 г., во время суда, Глеб Иванович просил мою сестру передать мне, что он мне завидует… Глеб Иванович видел во мне – в эти минуты – цельного, нераздвоенного человека, шедшего определенной дорогой, без колебаний, без оглядки… видел личность, у которой есть что-то заветное, ради чего отдает всё. Именно этой цельности, я думаю, он и завидовал» (В. Н. Фигнер, Собр. соч., т. VI, Письма, изд. политкаторжан, М., 1929).

вила во мне также светлое, «радостное» впечатление потому, что та глубокая печаль – печаль *о не своем горе,* которая была начертана на этом лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармонически слита с ее личною, собственною ее печалью, до такой степени эти две печали, сливаясь, делали ее *одну,* не давая ни малейшей возможности проникнуть в ее сердце, в ее душу, в ее мысль, даже в сон ее чему-нибудь такому, что бы могло «не подойти», нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла, – что при одном взгляде на нее всякое «страдание» теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, *живым,* что вместо слов: «как страшно!» заставляло сказать: «как хорошо! как славно!»

Но и этот образ ушел куда-то, и долго-долго моя напряженная память ничего не могла извлечь из бесконечного сумрака моих жизненных впечатлений; но она напряженно и непрестанно работала, она металась, словно искала кого-то или что-то по каким-то темным закоулкам и переулкам, и я почувствовал, наконец, что вот-вот она куда-то приведет меня, что… вот уж близко… где-то здесь… еще немножко… Что это?

Хотите – верьте, хотите – нет, но я вдруг, не успев опомниться и сообразить, очутился не в своей берлоге с полуразрушенною печью и промерзлыми углами, а ни много ни мало – в Лувре[6], в той самой комнате, где стоит она, Венера Ми-

---

[6] *Лувр* – музей в Париже.

лосская… Да, вот она теперь совершенно ясно стоит передо мною, точь-в-точь такая, какою ей быть надлежит, и я теперь ясно вижу, что вот это самое и есть *то,* от чего я проснулся; и тогда, много лет тому назад, я также проснулся перед ней, также «хрустнул» всем своим существом, как бывает, «когда человек растет», как было и в нынешнюю ночь.

Я успокоился: больше не было в моей жизни ничего *такого;* ненормальное напряжение памяти прекратилось, и я спокойно стал вспоминать, как было дело.

II

…Как давно это было! Не меньше как двенадцать лет тому назад довелось быть мне в Париже. В то время я давал уроки у Ивана Ивановича Полумракова. Летом семьдесят второго года Иван Иванович вместе с женой и детьми, а также и сестра жены Ивана Ивановича с супругом и детьми, собрались за границу. Предполагалось так, что я буду находиться при детях, а они, Полумраковы и Чистоплюевы, будут «отдыхать». Я считался у них диким нигилистом; но они охотно держали меня при детях, полагая, что нигилисты, хотя и вредные люди и притом весьма ограниченного миросозерцания, тупые и узколобые, но во всяком случае «не врут», а Полумраковы и Чистоплюевы и тогда уже чувствовали, что они по отношению к наивным и простым детским вопросам поставлены в положение довольно неловкое: «врать совестно», а «правду сказать» страшно, и принуждены были поэтому на самые жгучие и важные вопросы детей отвечать какими-то фразами среднего смысла, вроде того, что «тебе это рано знать», «ты этого не поймешь», а иногда, когда уже было особенно трудно, то просто говорили: «Ах, какой ты мальчик! Ты видишь, папа занят».

Так вот и предполагалось, что я, нигилист, буду делать ихним детям «определенное», хотя и ограниченное, узколобое миросозерцание, а они, родители, будут гулять по Парижу.

Но решительно не знаю, благодаря какой комбинации случилось так, что дамы и дети в сопровождении компаньонки и какого-то старого генерала очутились где-то на морском берегу, а мужья и я остались в Париже «на несколько дней». Замечательно при этом, что и дамы, уезжая, были очень со мною любезны, говорили даже, что оставляют мужей «на мое попечение». Теперь я догадываюсь, что, кажется, и у дам были относительно меня те же взгляды и те же расчеты, которые вообще исповедовали все они относительно нигилистов, то есть, что хотя и туп, и дик, и ограничен, и окурки кладу чуть не в стакан с чаем, но что все-таки мое «ограниченное» миросозерцание заставит как Ивана Ивановича, так и Николая Николаевича вести себя в моем присутствии не так уж развязно, как это, вероятно, было бы, если бы они за отъездом жен остались в Париже одни с своим широким миросозерцанием. «Все-таки они посовестятся *его!*» – вот, кажется, что именно думали дамы, любезно оставляя меня в Париже с своими мужьями.

Времени, отпущенного нам для отдыха, было чрезвычайно мало, а Париж так велик, огромен, разнообразен, что надобно было дорожить каждой минутой. Помню поэтому какую-то спешную ходьбу по ресторанам, по пассажам, по бульварам, театрам, загородным местам. Некоторое время – куча впечатлений, без всяких выводов, хотя на каждом шагу кто-нибудь из нас непременно произносил фразу: «А у нас, в России…» А за этой фразой следовало всегда что-нибудь

ироническое или даже нелепое, но заимствованное прямо из русской жизни.

Сравнения всегда были не в пользу отечества.

Такая невозможность разобраться в массе впечатлений осложнялась еще тем обстоятельством, что в 1872 г. Париж уже не был исключительно тем разнохарактерным «труля-ля», каким привык его представлять себе русский досужий человек. Только что кончились война и коммуна, и еще действовали военные версальские суды[7]; за решеткой Вандомской колонны[8] еще валялась груда мусора и камней, напоминая о ее недавнем разрушении; в зеркальных стеклах ресторанов виднелись звездообразные трещины коммунальных пуль; те же следы пуль – маленькие беленькие кружочки с ободком черной копоти – массами пестрили фасады величественных храмов, законодательного собрания, общественных зданий; вот у статуи богини «Правосудие» неведомо куда отскочил нос, да и у «Справедливости» не совсем хорошо на правом виске, и среди всего этого – мрачные разва-

---

[7] *Только что кончились война и коммуна, и еще действовали… версальские суды…* – Речь идет о франко-прусской войне 1870–1871 годов и о Парижской Коммуне, образовавшейся 18 марта 1871 года. Контрреволюционное правительство Тьера обосновалось в Версале (город в 17 км от Парижа), отсюда и название – версальские суды, совершавшие в течение нескольких лет кровавую расправу над коммунарами после разгрома Парижской Коммуны в мае 1871 года.

[8] *Вандомская колонна* – была воздвигнута в честь побед Наполеона при Вандоме в 1805 году. Парижская Коммуна постановила снести колонну, как «символ грубой силы и ложной славы…»

лины Тюльери[9] с высовывающимися рыжими от огня железными жердями, стропилами. Вообще на каждом шагу видно было, что какая-то грубая, жестокая, незнакомая с перчаткою рука нанесла всему этому недавно еще раззолоченному «тру-ля-ля» оглушительную пощечину. Таким образом, хотя Париж «тру-ля-ля» и действовал уже попрежнему, как ни в чем не бывало, но в этом действовании нельзя было не приметить какого-то усилия; пощечина ярко горела на физиономии, старавшейся быть веселой и беспечной, и сочетание разухабистых звуков возродившейся из пепла шансонетки с звуками «рррран…», раздававшимися в саторийском лагере[10] и свидетельствовавшими о том, что там кого-то убивают, невольно примешивало к разнообразию впечатлений парижского дня неприятное, мешающее свободному их восприятию чувство стыда, даже как бы позора. Вот почему, между прочим, нам и было весьма трудно разобраться в наших впечатлениях: набегаемся за день, наглядимся, наедимся, насмотримся, наслушаемся, еще раз и два наедимся и напьемся, а воротимся в свою гостиницу – и можем только бормотать что-то очень неопределенное, хотя и разнообразное, и даже бесконечно разнообразное.

Решительно не могу припомнить, каким образом удалось

---

[9] *Тюильри* – дворец в Париже; до 1871 года был резиденцией французских императоров; в 1871 году, во время Коммуны, пожар уничтожил центральную часть дворца.

[10] *Саторийский лагерь* – военный лагерь в местечке Сатори, в трех километрах от Версаля, где происходили расстрелы коммунаров.

нам, наконец, уловить одну черту, показавшуюся нам весьма существенною, отличающую «нас» от «них», и мы крепко за нее ухватились, как за путеводную нить.

Подал нам, например, слуга завтрак в загородном ресторанчике, а сам тут же, неподалеку от нас, сел читать газету, и мы, руководимые уловленною нами нитью, уже не преминем по окончании завтрака рассуждать об этом обстоятельстве таким образом:

– Да, личность-то человеческая здесь цела и сохранна! Вот он – лакей, слуга, тарелки подает, служит из-за куска хлеба, но он – человек! Это не то что наш лакей, который даже бесплатно будет перед вами холопствовать; мало того, что будет тарелки подавать, задохнувшись от благоговения, что «едят хорошие господа», но и лицо-то сделает холопское, и будет не ходить, а бросаться с тарелками, вспотеет весь от умиления. А это далеко не то! Он человек, его все интересует; он берет себе пять процентов с истраченного вами франка – и конец. Нет, это не лакей!

Кокотки, бульварные дамы также оказались все до единой не только кокотками, но и человеками.

– Это не то что у нас по Невскому несется в участок на извозчике какая-нибудь трагедия с подбитым глазом или совершенно спокойно, как мужик, во все горло выкрикивающий «сбитень хорош!», приглашает среди белого дня пойти с ней погулять, полагая, что это гулянье нечто вроде должности – недаром начальство выдало ей документ. Нет, тут

не то! Тут хоть она и занимается «этими делами», но в ней жив человек; она и этими делами займется и книжку почитает. Что ж делать? Это уж такой строй, ничего не поделаешь! Я как-то совершенно случайно (Иван Иванович сказал эти слова как-то в сторону, да и Николай Николаевич также при этих словах как будто бы покосился куда-то вниз и вбок) разговорился вот тут на бульваре с одной… – не помню уж, мороженое, что ли, ел – так ведь это, батюшка, ум! Ведь это живая, блестящая беседа! «Этими делами!» Эти дела – сами собой, а человек-то сознает свое человеческое достоинство! Вот в чем штука-то!

Попали мы в версальские военные суды, где в то время «разделывались с коммунарами». Разделывались с ними без всякого милосердия. В полтора часа разбиралось по пятнадцати дел, причем, что бы ни лепетал в свое оправдание подсудимый, большею частью несчастнейшего вида портной, сапожник, подмастерье, господа судьи, обнажив свои головы перед великими словами: «au nom du peuple français»[11], упекали его в Кайену, Нумею[12]… Камер для этих судов было настряпано пропасть; простыми досками были разгорожены огромные казарменные комнаты на четыре, на шесть клетушек, и в каждой клетушке упекали людей.

---

[11] *«au nom du peuple français»* – «во имя французского народа».

[12] *…упекали его в Кайену, Нумею…* – места ссылки и каторги. *Кайена* – город французской Гвианы; *Нумея* – столица Новой Каледонии, колонии Франции на Тихом океане.

– Так ведь что ж, батюшка? Тут ведь борьба! Два порядка, два миросозерцания стоят друг против друга. Какие же тут послабления, снисхождения?.. Чья возьмет! Это не то что у нас – упекут в Сибирь бабу, которая, не помня себя, родила и задушила ребенка, а потом сами же упекатели и собирают ей на дорогу. И несправедливо и глупо. Нет, здесь открыто, ясно, просто – кто кого! Здесь люди, батюшка, люди, каждый шаг свой на земле отстаивающие с борьбой и кровью… Тут нет гуманной болтовни, от которой тошнит, как у нас, и которая вовсе не обеспечивает нас от того, что гуманно болтающий человек не упечет вас к чорту на рога по личной злобе, ради мелкой зависти… Нет! здесь люди – «человеки», живут и делают без фальши, а только по-человечески… Ну а уж что делать, если человек вообще плох!

Заглянули в парламент, помещавшийся тогда там же, в Версали. И здесь все оказалось вполне по-человечески.

– Это, батюшка, не то что у нас какой-нибудь чинодрал или чинопер, безжизненнейшая, мертвая душа, строчит какие-то бессмысленнейшие бумаги и не задумается расказнить всякого, кто усомнится в живом значении исписанного бумажного листа. У нас бумага, чернила, сушь, а жизнь – что твой свиной хлев. Здесь совсем не то; здесь везде жизнь – и на улице, и в парламенте. Какова есть, такой ее и получите. Вон, посмотрите-ка направо-то: поел, позавтракал – брюхо-то тянет на покой. А Гамбетта[13], поглядите-ка, по живо-

---

[13] *Гамбетта* Леон (1838–1882) – французский политический деятель, буржу-

ту-то себе гладит, тоже перекусил парнишка, должно быть, плотно! Что ж? Ничего!.. Три часа – брюхо давно уж разговаривает… Отчего ж не перекусить? А галдят-то! Да все они немножечко подгуляли за завтраком… коньячишко еще не прошел… Право, ничего! Не беспокойтесь! То, что нужно для живого дела, сделают! Живое дело не велико, просто! Это у нас только «не пимши, не емши» убиваются по целым годам, стулья кожаные просиживают до дыр, издыхают, что называется, за строченьем бумаг, а все толку нет! Нет, здесь жизнь, здесь люди, человеки; здесь, батюшка, все по-человечески! без прикрас, без фраз!

А когда мы на денек, на два попали в Лондон, так уж тут «правда» осадила нас со всех сторон, на каждом шагу, во всех видах и во всех смыслах.

В каком-то «настоящем» английском ресторане, за пять шиллингов, вместо разнообразного пятифранкового парижского обеда нам *три раза* кряду дали одно и то же блюдо, три раза мы могли потребовать и съесть по хорошему куску мяса какого-то дикого животного, которое в жареном виде разъезжало в каком-то экипаже на колесах по ресторану (где все посетители хранили мертвое молчание), останавливаясь там, где заметна была пустая тарелка.

– Так, именно так! – сказал восторженно Иван Иванович,

азный республиканец; после падения Парижской Коммуны ознаменовал свою парламентскую деятельность рядом компромиссов с капиталистами и монархистами.

когда мы действительно наелись до отвала этим блюдом и вышли на улицу. – Раз, – продолжал он, – жизнь правдива, без фальши, она должна быть правдива во всем. Человек бегает, трудится, работает настоящим образом от зари до зари, ему нужна настоящая пища, его незачем надувать ордеврами[14] и разносолами. Есть, так уж есть как следует, и вот вам за пять шиллингов одно блюдо! Это великолепно!

Английская «правда» оказывалась гораздо уж выше французской, в чем мы скоро убедились самым неотразимым фактом. Надоумил нас кто-то (кажется г-н Бедекер[15]) съездить в Гринвич и съесть там знаменитый парламентский обед – «маленькую рыбку». Обед этот ни по своей цене, ни по своей «знаменитости», очевидно, не мог быть тем деловым обедом делового человека, который так нас восхитил своей «правдой». Это уж должно было быть что-то особенно изысканное. Каково же было наше удивление, когда и этот знаменитый обед еще раз убедил нас в том, что там, где в основании жизни лежит «правда», там для лжи, для притворства, для выдумки нет места даже в самых мельчайших проявлениях жизненного обихода. Обед состоял из множества рыбных блюд; маленькая рыбка, гужон, пескарь, фигурировала на первом плане, и блюда с маленькой рыбкой только изредка перемежались блюдом лососины или какой-нибудь

---

[14] *Ордевр* (франц.) – закуска.

[15] *Бедекер* – путеводители по всем странам и городам Европы, выпускавшиеся фирмой Карла Бедекера в Лейпциге на разных языках для туристов всех наций.

другой рыбы. Но ни маленькая рыбка, ни лососина, никакая другая из числа рыб, появлявшихся за этим обедом, не была подана в каком-нибудь таком «притворном» и неправдивом виде, чтобы, съев ее, можно было по совести сказать: «как вкусно!» Лососина пахла лососиной, лучше сказать, тем рыбным запахом, которым пахнет бумага или рука, прикоснувшаяся к рыбе. Правдивая английская фантазия не могла сфальшивить так, как сфальшивила бы французская. Точно таким же натуральным, правдиво-рыбьим запахом отдавали и все прочие посторонние кусочки посторонних рыб, появлявшиеся за обедом.

Что же касается героя обеда, «пескаря», то безукоризненно правдивая английская мысль и тут не могла подняться до шарлатанства и выдумки, и единственно на что у нее хватило смелости, так это только на то, чтобы дать одному блюду маленькой рыбки хоть какое-нибудь отличие от другого. Это отличие и было сделано помощью перца: то рыбка является обжаренною в простом перце, то в кайенском, то в легкой пропорции, то посильнее, то еще полегче, или еще позабористее, причем рыбка сама собой сохранила свой натуральный рыбий запах и непременно пахла чорт знает чем. После десятка таких тонких блюд, когда уже и усы, и салфетки, и платки, и руки – словом, все, что на вас и около вас, стало пахнуть рыбой и речной водой, появился последний, заключительный экземпляр маленькой рыбки, который, как оказалось впоследствии, достойно увенчал здание правдивого

обеда. Эта последняя рыбка, чрезвычайно маленькая, лежала на большой белой тарелке без всяких украшений и аксессуаров, как-то одиноко и загадочно: ее маленькое тело было искривлено как бы предсмертной конвульсией, да и одиночество ее на белой тарелке было также несколько таинственно; всматриваясь в этот венец здания, я, однако, не нашел ничего особенно таинственного, за исключением каких-то крошечных красненьких пылинок, которые усеивали все ее тщедушное тело. Но когда, взяв ее за хвост, все мы открыли рты и, думая проглотить это ничтожество, беспечно понесли его куда следовало, то рты наши уж не могли закрыться; маленькая тварь вонзилась в горло, как раскаленная игла, жгла рот, гортань и, после страшных усилий проскользнув далее, обожгла все горло и, как миноноска, зашмыгала в желудке, пытаясь взорвать его в двадцати местах.

Минуты две мы отпивались от этого «кушанья» сельтерской, содовой водой и вином и, только очувствовавшись, наконец могли издавать членораздельные звуки.

– Да! – сказал Иван Иванович довольно загадочно и вновь припал к содовой воде.

– Вот чорт-то! – сказал Николай Николаевич, который почему-то начал чихать и, отчихавшись, прибавил: – это уж не перец… а это что-то… бенгальский огонь какой-то… дьявол его возьми!

– Но не правда ли, до какой степени они глубоко правдивы? – сказал, наконец, Иван Иванович. – Ведь из этакого обе-

да чего бы только ни натворил француз? Ведь это было бы вавилонское столпотворение! А эти – нет! Нехватает на выдумку, на притворство… Дело, дело, дело! Реальная деловая мысль работает упорно, безостановочно, по вершочку идет вперед и вперед… а вот на соус, на куплет, на курбет неспособна! Правда! правда! вот где корень всей этой жизни!

И затем по пословице: «на ловца и зверь бежит», все; что мы ни видели в Лондоне, все поражало нас со стороны неподдельной правды и полной безыскусственности.

Если попадалась нищета, так уж это была такая голь, такой ужас, такая грязь, что можно было только остановиться, остолбенеть и глядеть в истинном ужасе на безукоризненно ясное явление жизни; даже той приличной внешности, которою французская парижская нищета может прикрывать себя, покупая за три-четыре франка рубашку, блузу, шапку и туфли, и той здесь нет и помину; целые гирлянды нищих детей, целые кучи их, кучи какой-то рвани, грязи лепешками на больных лицах, грязи в лысых местах больной головы, – копошатся по нищенским переулкам. Да, это уж точно нищета! Неприкрытая! Гляди – и всю жизнь не забудешь этой «правды» теперешнего человеческого общества.

Но зато уж и богатство, так тоже настоящее богатство!

Посмотрите-ка вот на этого белотелого истукана с сигарою в углу рта, пробирающегося, вероятно, в парк на каком-то необыкновенном инструменте (нельзя сказать: «экипаже»). Истукан сидит на каком-то крошечном сиденьице,

из-под которого в разные стороны вылезают какие-то стальные нити, как огромные ноги паука. Он весь на воздухе, высоко над толпой, а под ним как будто ничего нет, только блистают на солнце какие-то стальные иглы, а что это – колеса или ноги стального паука – не разберешь. Поглядите на него, и один вид, одна «порода», которая видна в нем, скажет вам, что он органически *не может* понять, что такое за существа копошатся у колес его паукообразного инструмента. Он органически безжалостен к нищете, к этим маленьким заморенным, почерневшим от каменноугольного дыма человечкам.

Словом, из Лондона мы вывезли довольно ценное впечатление: «Вот она, жизнь, в основе которой лежит неприкрашенная правда человеческая! Гляди и учись!»

III

Однако, несмотря на обилие материала, почерпнутого нами в эти дни беготни и касавшегося правды человеческих отношений, до которых успело дожить человечество, по возвращении в Париж нам стало почему-то скучно. В один серенький день, продолжая «досматривать» недосмотренное, мы лазили без малейшего удовольствия в парижских катакомбах, где множество боковых галерей было еще охраняемо стражей или загорожено цепями; это делалось для того, чтобы иностранец не наткнулся в этих запутанных галереях на трупы коммунаров, которые, говорят, бросились в катакомбы спасаться от версальцев, заблудились там и погибли в большом количестве. Видели также и в тот же день знаменитый морг с массою трупов, положенных перед глазами зрителей весьма прилично и невозмутительно; только вот тряпье, рвань, снятая с этих мертвецов, утонувших, угоревших, застрелившихся, отравившихся, – рвань, развешанная тут же около трупов на веревочках, для того чтобы можно было узнать погибшего по платью, если нельзя было узнать по лицу, – этот хлам говорил о горькой безысходной бедности. У одной молодой женщины подошвы ног, обращенные к публике, были сплошной мозолью – поработала бедняга на своем веку! Хотели было идти в знаменитые клоаки, но путеводитель так расписал их, что просто дух захватило: можете

представить, что одних (прошу извинить за неэстетическую картину) выкидышей человеческих, которые плавают там, в этих смрадных водах (извините, сделайте милость), он считал десятками тысяч.

Иван Иванович уж не говорил, что «а все-таки неприкрытая правда – гляди, страдай и учись»; напротив, он предложил рассеяться от этих впечатлений дня – всё трупы! В одних катакомбах три миллиона скелетов, в морге с десяток «свежих» покойников да в клоаках сулили тысячи мертвецов. Следовало немножко и отдохнуть от всего этого, «человеческого», на чем-нибудь не столь мрачном. Но когда вечером мы уселись на железных стульях какого-то кафе-концерта в Елисейских полях, и когда перед нами началось веселое кривлянье (повторяю, не утратившее еще следа недавнего удара), и когда вспомнилось, что, может быть, тут же, в клоаке, проходящей под Елисейскими полями, плывут тысячи неродившихся, когда вспомнилось, что в Версали раздается еще «рррр ран…» – когда вспомнилось все это, так и совсем стало скучно.

На следующее утро я ушел из гостиницы, не дожидаясь, когда проснутся мои патроны; мне было чрезвычайно тяжело, тяжко, одиноко до последней степени, и весь я ощущал, что в результате всей виденной мною «правды» получилось ощущение какой-то холодной, облипающей тело, промозглой дряни. Что-то горькое, что-то страшное и в то же время несомненно подлое угнетало мою душу; без цели и без

малейшего определенного желания идти по той или другой улице я исходил по Парижу десятки верст, нося в своей душе этот груз горького, подлого и страшного, и совершенно неожиданно доплелся до Лувра; без малейшей нравственной потребности вошел я в сени музея; войдя в музей, я машинально ходил туда и сюда, машинально смотрел на античную скульптуру, в которой, разумеется, по моему, тяпушкинскому, положению ровно ничего не понимал, а чувствовал только усталость, шум в ушах и колотье в висках; – и вдруг, в полном недоумении, сам не зная почему, пораженный чем-то необычайным, непостижимым, остановился перед Венерой Милосской в той большой комнате, которую всякий, бывший в Лувре, знает и, наверное, помнит во всех подробностях.

Я стоял перед ней, смотрел на нее и непрестанно спрашивал самого себя: «что такое со мной *случилось?*» Я спрашивал себя об этом с первого момента, как только увидел статую, потому что с этого же момента я почувствовал, что со мною случилась большая радость… До сих пор я был похож (я так ощутил вдруг) вот на эту скомканную в руке перчатку. Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую руку. Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня, мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было

чувствительности, заставило всего «хрустнуть» именно так, когда человек растет, заставило также бодро проснуться, не ощущая даже признаков недавнего сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом.

Я в оба глаза глядел на эту каменную загадку, допытываясь, отчего это так вышло? Что это такое? Где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как влившегося в меня? И решительно не мог ответить себе ни на один вопрос; я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного *существа*. Но я ни минуты не сомневался в том, что сторож, толкователь луврских чудес, говорит сущую правду, утверждая, что вот на этом узеньком диванчике, обитом красным бархатом, приходил сидеть Гейне, что здесь он сидел по целым часам и плакал: это непременно должно было быть; точно так же я понял, что администрация Лувра сделала великое для всего мира дело, спрятав эту каменную загадку во время франко-прусской войны в деревянный дубовый ящик и схоронив этот ящик в глубине непроницаемых для прусских бомб подвалов; представить себе, что какой-то кусок чугуна, пущенный дураком, наевшимся гороховой колбасы, мог бы раздробить *это* в мелкие дребезги, мне казалось в эту минуту таким злодейством, за которое нельзя отомстить всеми жестокостями, изобретенными на свете. Разбить это! Да ведь

это все равно что лишить мир солнца; тогда жить не стоит, если нельзя будет хоть раз в жизни не ощущать *эгого!* Какие подлецы! Еле-еле домучаются до гороховой колбасы и смеют! Нет, ее нужно беречь как зеницу ока, нужно хранить каждую пылинку этого пророчества. Я не знал «почему», но я знал, что в этих витринах, хранящих обломки рук, лежат действительные сокровища; что надо во что бы то ни стало найти эти руки, что тогда будет еще лучше жить на свете, что вот тогда-то уж будет радость настоящая.

Долго ли я недоумевал над выяснением причин, так неожиданно расширивших, выпрямивших, свежестью и спокойствием наполнивших мою душу, я не помню. Появление какого-то россиянина, вся фигура которого говорила, что он уже вполне разлакомлен бульварными прелестями, а развязный взгляд этого человека, очевидно только что позавтракавшего, стал так бесцеремонно «обшаривать» мою загадку, не находя, повидимому, ничего особенного по своей части (такие ли он уж видал виды!), заставило меня уйти из этой комнаты. Я мог оскорбиться на этого развязного человека, а мне *невозможно* было даже мысли допустить, чтобы в эту минуту я мог даже подумать жить чем-нибудь таким, что составляло простую житейскую необходимость *той поры,* то есть того времени, когда я был скомканной перчаткой. Опять позволить скомкать себя так, как это было час тому назад и всю жизнь до этого часа? Нет, нет! Я не мог даже есть, пить в этот день, до такой степени мне казалось это ненужным и

обидным для того нового, которое я в себе самом бережно принес в мою комнату.

С этого дня я почувствовал не то что потребность, а прямо необходимость, неизбежность самого, так сказать, безукоризненного поведения: сказать что-нибудь не то, что должно, хотя бы даже для того, чтобы не обидеть человека, смолчать о чем-нибудь нехорошем, затаив его в себе, сказать пустую, ничего не значащую фразу, единственно из приличия, делать какое-нибудь дело, которое могло бы отозваться в моей душе малейшим стеснением или, напротив, могло малейшим образом стеснить чужую душу, – теперь, с этого памятного дня, сделалось немыслимым; это значило потерять счастие ощущать себя человеком, которое мне стало знакомо и которое я не смел желать убавить даже на волосок. Дорожа моей душевной радостью, я не решался часто ходить в Лувр и шел туда только в таком случае, если чувствовал, что могу «с чистою совестью» принять в себя животворную тайну. Обыкновенно я в такие дни просыпался рано, уходил из дому без разговоров с кем бы то ни было и входил в Лувр первым, когда еще никого там не было. И тогда я так боялся потерять вследствие какой-нибудь случайности способность во всей полноте ощущать то, что я ощутил здесь, что я при малейшей душевной нескладице не решался подходить к статуе близко, а придешь, заглянешь издали, увидишь, что она тут, та же самая, скажешь сам себе: «ну, слава богу, еще можно жить на белом свете!» – и уйдешь.

И все-таки я бы не мог определить, в чем заключается тайна этого художественного произведения и что именно, какие черты, какие линии животворят, «выпрямляют» и расширяют скомканную человеческую душу. Я постоянно думал об этом и все-таки ничего не мог бы передать и высказать определенного. Не знаю, долго ли бы я протомился так, если бы одно совершенно случайное обстоятельство не вывело меня, как мне кажется, на настоящую дорогу и не дало мне, наконец-таки, возможности ответить себе на неразрешимый для меня вопрос: в чем тут дело, в чем тайна?

Совершенно случайно припомнилось мне старинное стихотворение в «Современнике» 55–56 годов; стихотворение носило название «Венера Милосская»[16] и, кажется, принадлежит г-ну А. Фету. Когда-то я знал это стихотворение наизусть, но теперь не мог припомнить всего и вспомнил только несколько строк, не имеющих никакой друг с другом связи. Мне вспомнились такие стихи: «До чресл *сияя наготой,* цветет *смеющееся тело* неувядаемой красой…» С словом *красой* рифмовала совершенно одиноко возникшая в моей памяти строчка: «И *млея* пеною морской» или *«млея негою одной».* Наконец, припомнилась и еще строчка: «И вся *кипя* (а может быть, и не так) пафосской (и это, может быть, неверно) *страстью…*» Вот и все, что мне припомнилось; но то, что рисовали эти строчки – «кипя страстью… смеюще-

---

[16] *«Венера Милосская»* – стихотворение А. А. Фета; под первоначальным заглавием «Милосская Киприда» было напечатано в «Современнике» в 1857 году.

еся тело… млея пеною морской» или *«негою одной»,* «цветет неувядаемой красой», – все это до такой степени было *не то* сравнительно с моим ощущением, что мне даже стало смешно.

В самом деле, всякий раз, когда я чувствовал неодолимую потребность «выпрямить» мою душу и идти в Лувр взглянуть, «все ли там благополучно», я никогда так ясно не понимал, как худо, плохо и горько жить человеку на белом свете сию минуту. Никакая умная книга, живописующая современное человеческое общество, не дает мне возможности так сильно, так сжато и притом совершенно ясно понять «горе» человеческой души, «горе» всего человеческого общества, всех человеческих порядков, как один только взгляд на эту каменную загадку. Правда, я еще не могу найти связи между этой загадкой, выпрямляющей мою душу, и мыслью о том, как худо жить человеку, являющейся непосредственно вслед за ощущением, даваемым загадкой, но я положительно знаю собственным своим опытом, что в то же мгновение, когда я почувствую себя «выпрямленным», я немедленно же почему-то начинаю думать о том, как несчастлив человек, представляю себе все несчастие этой шумящей за стенами Лувра улицы, и невольно, в смысле этого «человеческого горя», начинаю группировать все мною пережитое, виденное, слышанное до последней минуты сегодняшнего дня включительно, но я не ощущаю ни малейшей возможности сосредоточиться хотя на одну минуту на каких-нибудь частностях

собственно *женской* красоты видимой мною загадки.

Просто в голову даже не приходит думать, что перед тобой что-то «по части» тела, а напротив, непостижимо, почему думаешь, например, о том, что Иван Иванович Полумраков, сказавши, что вот этот лакей, несмотря на свое лакейство, все-таки сохранил в себе человека, решительно не понимал, какую огромную подлость лепетали его уста. Как! человек – и лакей? Человек – и принужден подавать тарелки? Это *человек-то* должен безмолвно исполнять ваши прихоти, чтобы получить три су на пропитание? Вот как, вдруг, переиначивалась во мне фраза Ивана Ивановича «о человеческом достоинстве», переиначивалась мгновенно, от одного только взгляда на загадку, заставлявшую ощутить радость сознания себя человеком.

Вчера я, может быть, еще мог бы радоваться вместе с Иваном Ивановичем, что вот эта уличная женщина сохраняет свое «человеческое достоинство», но *сейчас* я понять не могу, каким образом можно было допустить, чтобы человеческое достоинство, чтобы человек был так глубоко оскорблен. Человека, и сметь так осрамить! Человека-то сделать таким несчастным, так его всего скомкать, испачкать грязью!..

Нет, не «правда человеческая» рисуется передо мною теперь, не «правда», до которой, по словам Ивана Ивановича, дожило человечество, а самая страшная *неправда,* и никогда мне так не ясна она, эта неправда, как сейчас. Униженным, осрамленным представляется мне этот человек и в виде того

лондонского богача, один вид которого дал Ивану Ивановичу возможность сказать, что во всей его породе и природе нет фальши: теперь этот породистый тип казался мне унижением человека; как можно было довести человека до такого типа, до такого душевного состояния, которое даже органически не может понимать, что такое за мразь человеческая копошится у колес его экипажа? Как можно было довести человека до типа этой мрази, этого ничтожества, обрекающего себя на каторжный труд, на голод, на грязь, на безграничное душевное отчаяние? Все это ужасная неправда для *человека;* во всех этих неподходящих друг к другу положениях видно только, что «человек» скомкан, изуродован, «осрамлен» в своих человеческих побуждениях; изуродован необходимостью унижать себя до раба, до торговли своим телом, до желания наложить на себя руки, до потребности прекратить чужую жизнь, убив такого же, как и сам, человека, до потребности ограбить человека, до потребности, наконец, щеголять чрезвычайной добротою. Во всем этом, то есть во всем, что только ни видит ваш глаз, все одно унижение, все попрание в человеке человека… И страшно становилось за душевную участь теперешнего *человека,* за искалеченное, а потому постоянно опечаленное существо его души… И обо всем этом думалось благодаря «каменной загадке»; она «выпрямляла» во мне скомканную теперешнею жизнью душу человеческую, знакомила, неведомо как и в чем, с радостию и широтою этого ощущения.

Не «смеющееся тело», и не «пена», и не «кипя», и не «сияя», – очевидно, не они выпрямляли и выпрямляют в этом художественном произведении душу человеческую; очевидно, что автор стихотворения не только не овладел всей огромностью впечатления, но даже к краешку его не прицепился, а, соблазненный, так сказать, «званием» Венеры, как бы уже не мог не воспрославить *женской* красоты и без малейшего основания заставил смеяться несмеющееся, млеть немлеющее и кипеть не кипящее. И в самом деле, как же изобразить очарование женской красоты (ведь это Венера!), если не воспеть тела, если не разнежить им зрителя, заставив это тело млеть, заставив его волноваться страстью? Какими же чертами, какими красками описывать женскую, божественную красоту? И г-н Фет все это так точно и воспел, и все это совершенно несправедливо, то есть на воспевание только *этого* он не имел никакого права.

В самом деле, если говорить о женской красоте, о красоте женского тела, «неувядаемой» прелести, так ведь уж одно то, что Венера Милосская – калека безрукая, не позволяет поэту млеть и раскисать; тут же в коридоре, ведущем к Венере Милосской, вот близ тех, других «Венер», которых там так много, зритель, точно, может размышлять по части наготы тела; там женские черты выделены с большою тщательностью и лезут в глаза прежде всего; вот этим (также знаменитым) Венерам действительно под стать и млеть, и кипеть, и щеголять смеющимся телом, и глазками, и ручками, «эта-

ким вот» пафосским манером изображающими жесты стыдливости… Там, «у тех Венер», любитель «женской прелести» найдет на что посмотреть и пред чем помлеть, а здесь? Да посмотрите, пожалуйста, на это лицо! Такие ли, по части красоты женского лица, сейчас, сию минуту, тут же рядом, в Елисейских полях, можно получить живые экземпляры? Вот тут, в Елисейских-то полях, действительно могут встретиться такие смеющиеся тела, женственность которых чувствуется зевакой даже издали, несмотря на то, что и наготы-то никакой не видно, вся она закрыта самым тщательным образом. Здесь, в парижских-то Венерах, эта часть разработана необычайно, а у этой? Посмотрите, повторяю, на этот нос, на этот лоб, на эти… право, сказать совестно, почти мужицкие завитки волос по углам лба… Положительно сейчас, сию минуту в Париже найдутся тысячи тысяч дам, которые за пояс заткнут Венеру Милосскую по части смеющегося естества.

Мало-помалу я окончательно уверил себя, что г-н Фет без всяких резонов, а единственно только под впечатлением слова «Венера», обязывающего воспевать женскую прелесть, воспел то, что не составляет в Венере Милосской даже маленького краешка в общей огромности впечатления, которое она производит. В самом деле, если художник хотел поразить нас красотой женского тела (которая, по словам г-на Фета, и млеет, и цветет, и смеется, и кипит страстью), зачем он завязал это тело «до чресл»? Уж коли тело, так давай его все, целиком; тут уж и пятка какая-нибудь, сияющая «неувядаемой

красотой», должна потрясти простых смертных. Вот новые французские скульпторы, так те не то что «красоту», а «истину», «милосердие», «отчаяние» – все изображают в самом голом виде, без прикрышки. Прочтешь в каталоге: «Истина», а глаза-то смотрят совсем не туда… «Отчаяние»… подойдешь, поглядишь и думаешь вовсе не об «отчаянии», а о том, что «эко, мол, баба-то… растянулась – словно белуга».

А тут, задавши себе задачу ослепить нас неувядаемой красотой женского тела, смеющегося, кипящего, млеющего, взять да и закутать ее чуть не всю, до самых чресл! Что же это такое? Что руководило художником? Но это еще не все: закутав тело своего создания «до чресл», что он дал по части женской красоты – лицу, лбу, носу, выражению глаз?

И как бы вы тщательно ни разбирали этого великого создания с точки зрения «женской прелести», вы на каждом шагу будете убеждаться, что творец этого художественного произведения имел какую-то другую, высшую цель.

Да, он потому (так стало казаться мне) и закрыл свое создание до чресл, чтобы не дать зрителю права проявить привычные шаблонные мысли, ограниченные пределами шаблонных представлений о женской красоте.

Ему нужно было и людям своего времени, и всем векам, и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту *человеческого* существа, ознакомить человека – мужчину, женщину, ребенка, старика – с ощущением счастия быть *человеком,* показать всем нам и обрадо-

вать нас видимой для всех нас возможностью быть прекрасными – вот какая огромная цель владела его душой и руководила рукой.

Он брал то, что для него было нужно, и в мужской красоте и в женской, не думая о поле, а, пожалуй, даже и о возрасте, и ловя во всем этом только человеческое; из этого многообразного материала он создавал то истинное в человеке, что составляет смысл всей его работы, то, чего сейчас, сию минуту *нет* ни в ком, ни в чем и нигде, но что *есть* в то же время в *каждом* человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку, а не на распрямленную.

И мысль о том, когда, как, каким образом человеческое существо будет распрямлено до тех пределов, которые сулит каменная загадка, не разрешая вопроса, тем не менее рисует в вашем воображении бесконечные перспективы человеческого совершенствования, человеческой будущности и зарождает в сердце живую скорбь о несовершенстве теперешнего человека.

Художник создал вам образчик такого человеческого существа, которое вы, считающий себя человеком и живя в теперешнем человеческом обществе, решительно не можете себе представить способным принять малейшее участие в том порядке жизни, до которого вы дожили. Ваше воображение отказывается представить себе это человеческое существо в каком бы то ни было из теперешних человеческих положений, не нарушая его красоты. Но так как нарушить

эту красоту, скомкать ее, искалечить ее в теперешний человеческий тип – дело немыслимое, невозможное, то мысль ваша, печалясь о бесконечной «юдоли» настоящего, не может не уноситься мечтою в какое-то бесконечно светлое будущее. И желание выпрямить, высвободить искалеченного теперешнего человека для этого светлого будущего, даже и очертаний уже определенных не имеющего, радостно возникает в душе.

IV

Вот, стало быть, и я, Тяпушкин, всею моею жизнью обреченный на то, чтобы не жить личною жизнью, а исчезнуть, пропасть в каком-то не моем, но трудном деле ближнего, – был глубоко рад, что великое художественное произведение укрепляет меня в моем тогдашнем желании идти в темную массу народа. Теперь благодаря всему, чему великое художественное произведение научило меня, я знаю, что мне по моим силам и можно и должно «идти туда».

– Я пойду туда и буду стремиться к тому, чтобы начинающий жить человек-народ не позволил себя унизить до размеров той «сущей правды», которая так обрадовала Ивана Ивановича в Европе! Есть из-за чего, в самом деле, мучиться, чтобы не то что сохранить свое человеческое достоинство, будучи лакеем, банкиром, нищим, кокоткой, а чтобы унизить себя до необходимости переносить все эти уродства!

…Года через четыре я опять был в Париже и опять «жаждал» ощутить «радость» существования, посетить Лувр, но, увы, не мог этого сделать: я уже опять был скомкан, скомкан крепкой, сильной, неумолимой рукой действительности и чувствовал, что теперь меня уж не выпрямишь… Попробовал было я пойти в Лувр, подошел даже к самым воротам, но просто совестно стало идти: «что ж я пойду *понапрасну* беспокоить ее? Все равно ничего не выйдет, а *ее* только скон-

фузишь!..» Постоял и пошел в русскую библиотеку упиваться газетными известиями о градобитиях и неурожаях.

А теперь вот опять – да где? в глухой, занесенной снегом деревушке, в скверной, неприветливой избе, в темноте и тоске безмолвной томительной зимней ночи – вспомнилась радостная минута и оживила. Бывают же случаи, когда оживают члены, разбитые параличом. Теперь я употреблю все старания, чтобы мне не утратить проснувшегося ощущения как можно дольше; я куплю себе фотографию, повешу ее тут на стене, и когда меня задавит, обессилит тяжкая деревенская жизнь, взгляну на нее, вспомню все, ободрюсь и… такую сделаю «овацию» волостному старшине Полуптичкину, что он у меня обеими руками начнет строчить донесения!..

Примечания

Очерк был напечатан впервые в «Русской мысли», 1885, V, в цикле «Через пень-колоду». Рукопись не сохранилась. Замысел очерка возник в 1884 году. В письме к М. М. Стасюлевичу от 22 декабря 1884 года Успенский обещает ему написать работу «в совершенно новом роде, без всякого народничества». «Я начал для «Вестника Европы» небольшой очерк «Венера Милосская», – пишет Успенский, – работа совершенно новая и, я уверен, для многих из моих читателей совершенно неожиданная по теме, хотя ни по содержанию, ни по форме не имеющая ни малейших претензий явиться в чужой шкуре или представиться знатоком художественных произведений. Нет, это просто рассказ, так сказать, о личном знакомстве человека улицы с такими неожиданными для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и отделаться также не может, критикуя ими ту же самую уличную, низменную действительность, к которой он сам принадлежит. Этот рассказ мне хвалили почтенные люди, – но я решительно не могу взяться за него теперь, я просто утомлен».

Замысел не получил в 1884 году полного осуществления, но в архиве Успенского сохранился черновой набросок первоначального конспекта этого очерка под заглавием «Венера Милосская (Очерк)» и с зачеркнутыми подзаголовками: сна-

чала – «Из деревенского дневника», потом – «Воспоминания несчастливого человека». Конспект очерка остался незаконченным, но в нем уже были намечены все основные темы будущего очерка «Выпрямила».

В «Русской мысли», в цикле «Через пень-колоду», очерк «Выпрямила» был напечатан между двумя очерками того же цикла – «IV. Недописанная глава» и «VI. Окончание недописанной главы». В этих очерках были поставлены те же вопросы, что и в очерке «Выпрямила», но политически более остро и резко. В картинах из деревенской жизни Успенский показывает тех же «скомканных в перчатку» условиями российской действительности бесправных крестьян, несправедливо и оскорбительно для человеческого достоинства подвергающихся различным наказаниям, а также и людей, защищающих законные интересы крестьян и за это преследуемых властями. Успенский в этих очерках декларирует и основные принципы передовой литературы. Выступая против эстетов и любителей «чистого искусства», Успенский характеризует лучшую русскую литературу, начиная с Пушкина, как литературу, выражающую интересы народа, вдохновляемую идеей «выпрямления человеческой души», то есть освобождения крестьян от рабства, и освобождения справедливого, с землей; он отстаивает право и необходимость современного ему демократического писателя «писать вообще о мужике», о его нуждах и добиваться улучшения его жизни. В окружении этих очерков произведение «Выпрямила» ближе

связывалось с крестьянской тематикой и, с другой стороны, приобретало большее злободневно-политическое значение. В Сочинения очерки «Неоконченная глава» и «Окончание неоконченной главы» Успенский не включил.

В очерке «Выпрямила» писатель показывает людей, «скомканных» как русской действительностью (крестьяне-новобранцы, народник Тяпушкин), так и западноевропейским капиталистическим строем, где царствует мнимая «правда», где «всё одно унижение, всё попрание в человеке человека». Но пафос «Выпрямила» – в мечте о лучшем будущем русского народа, о «выпрямленном» человеке, свободно трудящемся на своей земле, освобожденном от несправедливостей правительственных властей и «жестокостей» капитализма. В связи с этим Успенский рисует образы людей «выпрямленных», гармоничных. Писатель находит три таких гармонии: красоту труда в образе крестьянки, живущей полной трудовой жизнью; красоту революционного подвига в образе революционерки, самоотверженно борющейся за права народа; красоту искусства, – того искусства, которое тесно связано с жизнью, имеет непреходящее эстетическое и вместе с тем общественно-воспитательное значение.

Таким образом, очерк «Выпрямила» является и замечательным трактатом демократической материалистической эстетики, и ярким политическим выступлением против представителей «чистого искусства», поднявших свой голос

к середине 80-х годов. Сущность образа статуи Венеры Милосской, воспетой эстетами за красоту линий «божественного тела», была заново открыта русскому обществу 80-х годов с точки зрения писателя-демократа. Развивая в своем очерке основы материалистического учения Чернышевского о «прекрасном», Успенский понимает «прекрасное» в искусстве не только как начало высокоидейное, народное, тесно связанное с жизнью и общественно ценное, но утверждает и действенное начало искусства, которое, по его мнению, не только воспроизводит действительность в ее существенных чертах, но и помогает изменению жизни, вдохновляет на преобразование ее.

В основу очерка «Выпрямила» легли воспоминания Успенского о поездке его за границу в 1872 году. В письме к жене из Парижа от 10 мая 1872 года он с восторгом пишет о Лувре, называя его «великим целителем», и далее: «Тут больше всего и святей всего Венера Милосская… с лицом, полным ума глубокого, скромная, мужественная, мать, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни – вот бы защитникам женского вопроса смотреть на нее… это действительно такое лекарство, особенно лицо, от всего гадкого, что есть на душе…» А. И. Иванчин-Писарев рассказывает, с каким трепетным волнением Успенский показывал ему Венеру Милосскую во время своего второго пребывания в Париже в 1875 году. Он сообщает и слова писателя: «Очевидно художник хотел показать не прелести Венерки, а красоту че-

ловеческой души, способной проникнуться великим, слиться с ним. С такой душой в гармонии и внешность, выражение всей фигуры». И далее: «В ней, в этом существе, – только одно человеческое в высшем значении этого слова!» («Заветы», 1914, № 5).

С. М. Киров, прочитав этот очерк в тюрьме в 1912 году, писал оттуда М. Л. Маркус «о неотразимом впечатлении», которое произвел на него этот очерк («Литературная газета», 1939, 1 декабря).